
ЯЗЫКИ КУЛЬТУРЫ: ДИАЛОГ ВРЕМЕН

А. Э. Петросян

доктор философских наук

**ТОТАЛИТАРИЗМ:
НИЩЕТА МЕССИАНСТВА**

Революции никогда не облегчали бремя тирании, они лишь перекладывали ее с одного плеча на другое.

Дж. Б. Шоу

Человеку свойственно верить в лучшее, которое приходит извне и сразу. Мессианские мотивы всегда звучали в гуманистической традиции, ставшей одной из важнейших предпосылок революционной мысли. Вспомним хотя бы гетевского Гумануса, который должен был подчинить себе людей и затем создать себе подобных, или слова «Интернационала»: «Мы наш, мы новый мир построим». От них веет чувством полной исторической свободы, абсолютной раскованности и убежденности, что все возможно – нужна лишь вера в светлое будущее и безусловная готовность к борьбе:

Лишь тот достоин счастья и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой.

(Гете. Фауст).

Новое общество, новая жизнь, новый человек... В этом ряду – и новое государство. И оно, как полагали революционеры-марксисты, будет именно таким, каким мы его захотим построить.

Не странно ли это?

Ведь не кто иной, как Маркс, стремился представить историю общества как естественный процесс, протекающий – пусть не по жестким, – но по вполне определенным и непреложным законам. Еще в предисловии к работе, названной им «К критике политической экономии», он вывел свою знаменитую формулу: на определенном этапе общественного развития производственные отношения превращаются из движителя в оковы производитель-

ных сил, и тогда наступает эпоха социальной революции, которая разбивает эти оковы и дает возможность прорасти новым производственным отношениям, способным обеспечить дальнейший прогресс. С этим сопряжен и другой тезис Маркса: ни одно общество не может погибнуть раньше, чем исчерпает весь потенциал своего развития, пока не достигнет пределов, обозначенных его собственной природой. И обратная сторона той же медали – ни одно общество не возникает прежде, чем в недрах предыдущего созреют его предпосылки, пока его основные составляющие не развернутся настолько широко, что им станет тесно в рамках предшествующей социальной формы. А значит, нельзя злоупотреблять насилием. Хотя оно и подталкивает историю, но его дитя всегда может оказаться мертворожденным.

А если это дитя будет жизнеспособным? Что тогда? Не оправдает ли оно насилие уже самим фактом своего существования?

1. Смирительная рубашка

Революционеры-марксисты отнюдь не придерживались единого мнения относительно возможности построить новое общество в России. Одни доказывали, что предпосылок для него недостаточно. Другие, наоборот, были убеждены в том, что главное – ввязаться в бой, а конкретные задачи придется решать по ходу дела («в рабочем порядке»), а потому нет смысла предугадывать то, что возникнет лишь после захвата власти. Наконец, промежуточную позицию занимал В. И. Ленин. С одной стороны, он не хотел ограничивать себя «внешними» рамками исторических реалий, а с другой – понимал, что без «первокирпичиков» новое общество строить не из чего.

В этом мнении Ленин укрепился, когда он стал изучать особенности монополистического капитализма, в лоне которого и должны были вызреть ростки нового общества. Поэтому он считал монополизацию не просто высшей, но и последней стадией капитализма и даже кануном социалистической революции. Особый смысл Ленин видел в том, что монополистический капитализм концентрирует собственность в немногих точках и соответственно доводит обобществление производства до гигантских размеров. Это, по его мнению, могло бы послужить благоприятной почвой для переустройства общества. В «Государстве и рево-

люции» Ленин поддержал идею одного немецкого социал-демократа, заявившего, что почтовая служба капиталистических стран является прообразом социалистического хозяйства. А затем он заключил, что в государственно-монополистической форме механизм социалистического хозяйствования практически готов и может быть перенят без существенной трансформации.

Монополистический капитализм, по Ленину, создает предпосылки социализма не только в том смысле, что монополии могут послужить организационным «телом» крупных социалистических хозяйств. Не менее важно и то, что при нем господствует тенденция к дальнейшему слиянию монополий. Все идет к тому, чтобы соединиться в одну-единственную, хотя внутри самого монополистического капитализма это не может произойти. Во-первых, действуют, кроме центростремительных, также и центробежные тенденции, а во-вторых, до того, как это случится, должна произойти социалистическая революция, которая и завершит то, что не под силу монополистическому капитализму.

Но такое объединение производства в «единую фабрику», концентрация всей собственности в одних – государственных руках – и есть социализм. Это фактически означает создание абсолютной (общегосударственной) монополии, обращенной на пользу народу. Правда, в чем состоит эта польза, и как ее добиться – Ленин не обсуждает. Он полагает, что ее гарантом является само государство, выступающее от имени пролетариата и осуществляющее его классовую диктатуру.

Была и еще одна загвоздка. Ведь совсем не очевидно, что пролетариат может выражать интересы всего народа. Даже за вычетом «эксплуататорских» классов он отнюдь не составляет большинства населения и, преследуя свои цели, вовсе не обязан учитывать интересы остальных слоев. Но и тут па выручку приходит мессианская идея. Историческая миссия пролетариата состоит в том, чтобы проторить дорогу в будущее, и если его интересы и противоречат сиюминутным интересам других классов, он в любом случае выражает их долгосрочные, перспективные запросы.

В «Детской болезни «левизны» в коммунизме» Ленин вывел новую «закономерность» для социалистической революции. В отличие от буржуазной, назначение которой состоит лишь в окончательной расчистке феодальных завалов, социалистический переворот обладает конструктивным смыслом. Он должен

положить начало организации новых социальных отношений. И чем более отсталым является общество, в котором его удастся осуществить, тем весомее в нем «конструктивная» составляющая.

Нетрудно заметить, что эту «закономерность» Ленин «примерял», главным образом, не к самым развитым странам, где капитализм не достиг особого расцвета и не сумел охватить значительной части населения. Стало быть, если бы социалистическая революция случилась в «классических» буржуазных странах, давно избавленных от феодальных пут, ее «конструктивная» функция оказалась бы сnivelированной. Там осталось бы сделать только самый последний шаг, который превратил бы экономику в «единую фабрику». Другое дело – Россия. Обобществление собственности тут может быть чисто номинальным. Поэтому социалистическая партия, захватив власть, вынуждена наладить всю систему хозяйственных связей, то есть выполнить «черновую» работу, которую не успела проделать сама история.

Н. И. Бухарин в «Экономике переходного периода» заметил, что капитализм никто не строил. Его формирование происходило стихийно, оказываясь результатом свободной игры общественных сил. Это место Ленин сопроводил пометкой «очень верно», полагая, вероятно, что человеческая воля непричастна к развитию буржуазных отношений.

Конечно, хорошо, – рассуждал Ленин, – когда имеется ряд монополий, и нужно лишь соединить их, чтобы получить социализм. А если их нет? Если хозяйство раздроблено? Если не так уж много крупных производств? Сидеть сложа руки? Отказаться от власти? Естественно, нет. Надо начать работу с того места, где закончила ее история.

Но допустим, единая монополия создана. Как она будет функционировать? Не раздавит ли она под своей тяжестью гражданское общество? Никогда еще государство не имело такой власти над ним. Даже в древних азиатских обществах собственность деспота была опосредована общиной, и его власть отнюдь не распространялась на внутриобщинную жизнь и тем более производство.¹ Что же касается социалистической экономики, то в ней любое распоряжение собственностью опосредствуется госу-

¹ См.: Петросян А. Э. Предыстория тоталитаризма: Долгая дорога к бюрократии // Вестник Омского университета. 2007. № 3. Стр. 52 – 53.

дарством. Но как же тогда реализовать интересы народа, каким должен быть механизм, который обеспечит его права? Какова реальная природа такого обобществления, и как им следует управлять?

Ленин понимал, что, приобретая монопольное право распоряжаться собственностью, государство узурпирует власть над гражданским обществом и соответственно наделяет ею всякого субъекта, который выступает от его имени. Но в той мере, в какой он исполняет свои полномочия, происходит его отрыв от субстанции государства и превращение в самостоятельную силу. Такой субъект осуществляет собственную линию, которая вовсе не обязана сливаться с интересами народа. Отсюда вывод: государство не вправе делегировать кому бы то ни было свои функции по управлению собственностью и должно напрямую заняться хозяйственным строительством.

Тем самым государство непосредственно проникает внутрь гражданского общества. «Задача управления государством, которая выдвинулась теперь перед Советской властью, – пишет Ленин, – представляет еще ту особенность, что речь идет теперь – и, пожалуй, впервые в новейшей истории цивилизованных народов – о таком управлении, когда преимущественное значение приобретает не политика, а экономика. Обычно со словом «управление» связывают именно и прежде всего деятельность преимущественно, или даже чисто, политическую. Между тем самые основы, самая сущность Советской власти, как и самая сущность перехода от капиталистического общества к социалистическому, состоит в том, что политические задачи занимают подчиненное место по отношению к экономическим».² Благодаря этому, казалось бы, решается главная задача. Государство, непосредственно управляя экономикой, служит одновременно источником и гарантом осуществления интересов народа.

Но как на практике добиться такого управления? Ведь даже чисто теоретически (если отвлечься от разветвленности и неоднородности производства) оно возможно лишь в том случае, если экономика представляет собой единство взаимосвязанных компонентов. Иначе трудно говорить о централизованном планировании и «нормированном» обмене деятельностью и продуктами труда. Если же попытаться навязать государственную опеку раз-

² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 130.

дробленному и «разношерстному» производству, станет неминуемым хозяйственный коллапс.

Именно это и произошло в эпоху «красногвардейской атаки» на капитал. Тогда были национализированы не только крупные, но и средние и даже мелкие предприятия. В своей совокупности формально они составили ту самую «единую фабрику», которая была, по Ленину, экономическим «хребтом» социализма. Но связи между ними были локальны и спорадичны, а общенациональный рынок, сопрягавший друг с другом их усилия, методично «выдавливался», ибо он бессмысленен в условиях «единой фабрики» и «единого хозяина». Смешно говорить о рынке, когда одно и то же лицо является и продавцом, и покупателем, и даже посредником, и, перекладывая деньги из одного кармана в другой, имитирует хозяйственный оборот. Но, поскольку предприятия остаются разрозненными, их может связать лишь воля «единого хозяина». А это вряд ли можно считать реальным обобществлением.

Что значит обобществление производства?

Это, прежде всего, вовлечение в общее поле хозяйственной деятельности все больших слоев населения – как в смысле изготовления продукции, так и в отношении ее потребления. Такое обобществление происходит и при капитализме и в тенденции, в перспективе должно привести к «обществу ассоциированных производителей». Но, поскольку собственность, а стало быть, и власть над производством остается еще во многих руках, буржуазное обобществление внутренне противоречиво: оно все время наталкивается на те пределы, которые обусловлены самой природой капиталистического строя. Поэтому нужно сделать следующий шаг – обобществить собственность, непосредственно перейти к «ассоциированному труду».

Однако национализация может быть лишь формальным обобществлением, сосредотачивающим в одних руках огромное множество разнородных и разрозненных производств. Они не интегрированы в единый хозяйственный комплекс, и «единый хозяин» оказывается чисто номинальным. В действительности же, чтобы управлять ими, он вынужден раздробить властные полномочия и распылить их между множеством лиц, подотчетных государству, но наделенных «хозяйскими» функциями. И единственное что меняет национализация в организации про-

изводства, – это то, что «конкретный» собственник повсеместно вытесняется «абстрактным» чиновником.

Наконец, тут не могла не возникнуть еще одна проблема, которая не вставала так остро со времен первоначального накопления капитала. При формальном обобществлении производства и фактическом разрушении рынка и замене его централизованным планированием неизбежно подрывается как инициатива руководителей, так и мотивация работников. Не говоря уже о негативном стимулировании, которое привязывает их к своему рабочему месту, нужно отметить все возрастающий разрыв между трудозатратами и вознаграждением. В свою очередь, отсутствие рынка труда не просто ограничивает саморегулирующийся приток рабочей силы, но и не позволяет ей достичь соответствия между квалификацией и заработной платой. Иными словами, механизм компенсации трудозатрат перестает действовать как внутри предприятия, так и в масштабах всего общества.

Таким образом, сам хозяйственный механизм содержит в себе тенденцию дезинтенсификации труда, которая, в конечном счете, не может не привести к саморазрушению этого механизма. Разумеется, отчасти это компенсируется революционным энтузиазмом. Но разговор о его массовости – не более чем легенда. «Массовый энтузиазм» – нечто вроде «массового рекорда», который лишается всякого смысла именно в силу своей массовости. Поэтому, несмотря на энтузиазм, общий вектор развития направлен в сторону деградации стимулов. Результат – массовая бесхозяйственность и упадок производства.

Как с этим бороться?

Универсальное лекарство, придуманное Лениным, – учет, контроль и принуждение (например, в форме трудовых армий). С его помощью имелось в виду преодолеть издержки той ситуации, которая сложилась в результате формального обобществления производства. То есть оно было не практическим воплощением идеалов социализма, а способом выйти из тупика, в который завела прямолинейная трактовка социализации общества.

Военный коммунизм задумывался как способ непосредственного перехода к новому обществу. Он использовался как рычаг преобразования капиталистического организма в социальную систему, свободную от частной собственности, эксплуатации труда и узкоэгоистических целей отдельных слоев и корпораций.

Однако ее предполагалось создать из того материала, который находился в распоряжении власти. И не согласно его внутренней тенденции, не пестуя ростки, которые уже начали пробивать себе дорогу в недрах старого общества, а невзирая на них и даже вопреки им. Зато в полном соответствии с идеалом – неким абстрактным стандартом, который внеположен существующему и не может произрасти из него. Речь шла не о мобилизации реальных возможностей, накопленного обществом потенциала, его дальнейшего развития и раскрепощения дремлющих в нем сил, которые прежде были задавлены социальными ограничениями, ущемлением гражданских свобод, но о навязывании ему вневременного «лекала», попытке выложить из осколков этого общества чуждой ему действительности. Стоит ли удивляться, что идеал натягивался на него, как смирительная рубашка, и государству ничего не оставалось, как загонять людей в новый мир палкой?

Неужели Ленин не понимал, что родовая травма общества, чьей повивальной бабкой является насилие, настолько деформирует его, что в нем не останется места для свободы и самовыражения? Еще Гегель с иронией писал о том, что Наполеон не сумел осчастливить Испанию, как и Филипп – повергнуть в несчастье Голландию. Но этот довод вряд ли мог убедить революционеров. Известно, что Тухачевский заявлял, что он на штыках принесет свободу польскому народу. И, по-видимому, они (включая Ленина – по крайней мере, в первые годы после захвата власти) не сомневались в возможности насильственной социализации хозяйства.

Да и как иначе может государство, пожелавшее осчастливить свой народ, выполнить эту миссию? Очевидно, только запустив свои шупальца в гражданскую жизнь и манипулируя как происходящими в ней процессами, так и каждым отдельно взятым подданным. Стало быть, оно должно превратиться в своеобразного монстра, опутывающего все сферы человеческого бытия и берущего их под свой неусыпный контроль.

Это не просто «отрицательная» (запретительная) регламентация, как при конституционной монархии (реальной, а не символической – вроде тех, что сегодня можно увидеть в Великобритании или Испании), не только обнесение гражданского общества частоколом бюрократических рогаток или вменение сословиям и корпорациям определенных повинностей, как при абсолютизме. Во

всех этих случаях не перестают учитываться частные интересы, а «строгости» в основном перекликаются с устремлениями тех, кто занимает прочные позиции в гражданском обществе.³ Правда, это делается за счет социальных низов, с которыми никто особенно не собирается считаться. Но что касается военного коммунизма, то он и вовсе не опирается ни на какую сложившуюся базу.

Частная собственность практически уничтожена, утрачено чувство хозяина, и граждане перестали быть непосредственными субъектами хозяйственной деятельности. Они не только не могут совершать инициативные действия; даже желание что-то изменить вокруг себя граничит с преступлением, так как оно посягает на прерогативу государства. Выдавлив из сферы гражданской самодетельности подданных, власть остается в ней единственным предпринимателем. А потому она, с одной стороны, выстраивая свои планы, проявляет равнодушие к частным интересам, а с другой – исходит не из реальных потребностей общества, а из иллюзорных ценностей, витающих в головах чиновных лиц.

Кто стал бы поддерживать такую власть?

Прежде всего, те, кто, выступая от имени насаждаемого идеала и проникшись его духом, видел в нем смысл собственной жизни, а себя самого воспринимал как продолжение государства в гражданском обществе. Это большинство членов большевистской партии, а также малоквалифицированные рабочие и беднейшие слои крестьянства и мелкой буржуазии, не имевшие тесных «родственных» связей со старым миром. Но основная часть населения – «пассивная масса» - не была готова сломя голову броситься за ними. В этих условиях единственным средством относительно быстрого и результативного воздействия на нее могло стать только тотальное насилие. Причем необязательно физическое (например, использование ученых-аграрников под угрозой наказания не в лабораториях или вузах, а на полях). Вполне срабатывали и меры экономического и даже морального принуждения. Конечно, многие видные специалисты были вынуждены эмигрировать. Но другие, оказавшись в тисках дилеммы «чуждое отечество – сытая заграница», предпочли остаться и делать то и так, что и как требовало государство, хотя это противоречило их внутренним убеждениям.

3 См.: **Петросян А. Э.** Предвестие тоталитаризма: В лабиринте словесных притязаний // Научный вестник Омской академии МВД России. 2007. № 3. С. 8 - 9.

Таким образом, речь идет о диктатуре, подавляющей не только волю и сопротивление оппонентов, но и «равнодушные» нейтральных элементов, которые автоматически переходят в разряд их пособников. Это не диктатура класса. И не потому, что далеко не весь пролетариат поддерживал военно-коммунистическую власть. Гораздо важнее, что он практически никак не участвовал в выработке политической линии.

Сама организация власти – как государственной, так и партийной, которая вообще не имела дела с чуждыми элементами, – была такова, что исключалось любое давление на нее не только снизу, но даже «сбоку». Это привело в конце концов к запрещению фракций внутри партии, так как они могли расшатать, а потом и расколоть партийную власть. Что же касается съездов большевистской партии или Советов, то понятно, что они в принципе не были в состоянии определять политическую линию и лишь «штамповали» заранее сформулированные решения. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на работу нынешних депутатов и делегатов – гораздо более квалифицированных и компетентных, чем их коллеги начала XX века, и, тем не менее, топущих в пучине бесконечных дискуссий и в лучшем случае вырливающих на тропинку, заботливо высланную для них теми, кому в действительности принадлежит решающее слово. В итоге все ответвления власти слились воедино, как сиамские близнецы. Законодательная и исполнительная власти оказались под одной крышей (ЦИК) и были фактически подчинены партийной верхушке, которая заняла командные высоты как в самом ЦИКе, так и непосредственно в правительстве.

Такая диктатура с весьма ограниченной социальной базой и масштабной, обращенной в будущее миссией была обречена стать тоталитарной. С одной стороны, она почти не имела опоры в хозяйственной жизни, а с другой – хотела перевернуть ее. Эта внутренне противоречивая задача, непосильная даже для Архимеда, неизбежно требовала, чтобы государство превратилось в спрута, сжимающего в щупальцах гражданское общество, а само оно – в Зазеркалье, где выступают наружу не интересы и чаяния существующих в нем сословий и корпораций, а те функции и роли, которые предписываются им государством.

Правда, со временем такое миссионерское государство неизбежно превращается в свою противоположность – державу, не

помнящую родства, которая, сосредоточив в своих руках все – не только политические, но и хозяйственные, социальные и даже духовные – рычаги воздействия на подданных, заботится уже не столько об осуществлении светлых, но основательно подзабытых идеалов, сколько о самосохранении, поддержании сложившегося – пусть и далекого от желаемого – жизнеустройства. Стало быть, оно перестает служить благу – хотя и ложно понятому и эфемерному – своих подданных, а наоборот, смысл их собственной жизни сводит к тому, чтобы отдать ее на благо – столь же иллюзорное и никем не понятое – этого государства.

2. Жупел бюрократизма

Идейным ядром тоталитарного государства выступает державная идеология. Она отмечает частные интересы, складывающиеся в гражданском обществе, тем более, когда они сталкиваются с собственными устремлениями этого государства. Державная идеология, ловко эксплуатируя социальные идеалы, противопоставляет их частным интересам и тем самым подрывает доверие к особым позициям тех или иных слоев и корпораций. Обезличивая общество, она, конечно, не стирает действительных различий между людьми и социальными группами. Но многие из них начинают верить, что эти различия – ничто по сравнению с общностью тех обязанностей, которые возникают у подданных перед государством.

В этих условиях ключевое значение приобретает чиновничество. Оно становится щупальцами тоталитарного спрута и проводником державной идеологии. А поскольку эта идеология носит «предсуществующий» характер, то есть не выводится из хода жизни, а напротив, навязывается ей, исходя из абстрактных идеалов, управленческие импульсы предельно формализуются и строго канализируются. Тем самым подрывается не просто суверенитет личности, но даже профессиональный суверенитет чиновника. Это с одной стороны. А с другой – резко возрастает социальная роль бюрократии – низшего звена чиновничьего сословия. Там, где главным становится учет, контроль и инструктаж производственников и обывателей в связи с проведением в жизнь государственной линии, бюрократия оказывается узловым элементом аппарата власти. Она переводит державную идео-

логию на язык практической работы и конкретных действий.⁴ Правда, за высшим руководством сохраняется право толкования идеологического катехизиса. Но именно бюрократия собирает и представляет сведения о состоянии гражданского общества. А от этого зависит, какими будут дальнейшие указания и планы. Вот почему фактическая власть бюрократии значительно превосходит отведенные ей номинальные полномочия, и она оказывается гораздо сильнее, нежели те, кто формально возвышается над ней в управленческой иерархии.

Уже к концу 1922 г. лидеры большевистской партии, включая Ленина, с удивлением обнаружили, что И. В. Сталин, поставленный во главе партийной бюрократии, за короткий срок сосредоточил в своих руках гигантскую, почти необъятную власть. Причем он мог злоупотреблять ею без всякого риска быть остановленным. Его оппоненты пришли к выводу, что этот феномен объясняется исключительно личными качествами Сталина и его виртуозной аппаратной игрой. Между тем он всего лишь оседлал естественный процесс, вызванный существующими формами организации власти, при которых распорядительные полномочия неизбежно стекаются к бюрократии. Правда, пока еще эти формы находились в зачаточном состоянии и ловко прикрывались мишурой трескучих лозунгов. И тревожные нотки, прозвучавшие в знаменитом письме Ленина к съезду большевистской партии, выглядели не столько диагнозом, сколько смутным ощущением назревания тоталитарно-бюрократических тенденций.

Накануне Октябрьского переворота 1917 г., обобщая предыдущий опыт исторического развития государства – и прежде всего Парижской Коммуны как первой формы пролетарской государственности – и размышляя о контурах будущей системы коммунистической власти, Ленин пытался нащупать рычаги и механизмы, в которых она должна получить свое выражение. Он думал и над тем, как преодолеть отчуждение гражданина от власти. Поддерживая идею Маркса о том, что все должны участвовать в государственной жизни – либо непосредственно, работая в соответствующих органах, либо опосредованно, выбирая и заменяя своих представителей, – Ленин решил пойти дальше, а точнее – вернуться назад к самопредставительству народа, что

⁴ См.: Донской Г. (Петросян А. Э.). В плену осажденного Замка. или Апология границей бюрократии // Вестник высшей школы. 1990. № 7. С. 81 - 82.

более созвучно представлениям молодого Маркса. Это значит, что гражданам – по крайней мере большинству их – придется так или иначе включиться в деятельность органов власти.

Именно отсюда родом известное выражение о том, что нужно каждую кухарку научить управлять государством. И это предстояло сделать через Советы, которые призваны были соединить законодательную и исполнительную власти, поглотив при этом власть судебную. А сами Советы должны были управляться партией и проводить партийную линию. Неудивительно, что при такой организации власти Советы неизбежно воплощали в себе все недостатки Парижской Коммуны. Не говоря уже о том, что Коммуна, будучи фактически «городом-государством», еще могла себе позволить «самоуправление народа», тогда как Советы в большом иерархически построенном государстве утрачивают это преимущество и фактически подчиняются «вышестоящим» Советам, а по сути их аппаратам.

Советы как таковые обладают лишь виртуальным бытием. Они существуют в качестве периодических краткосрочных собраний, а потому в принципе не могут быть рабочими органами. Исполнительная функция непосредственно отчуждается у них аппаратом, а законодательная выполняется ими чисто формально. В действительности они лишь «освящают» и закрепляют вынесенные аппаратом готовые решения. Тем самым стремление научить кухарку управлять государством вырождается не просто в депрофессионализацию чиновника, что, по существу, равнозначно бюрократизации государства, но и – что еще хуже – в профессиональную деградацию значительной части граждан, вовлеченных в псевдогосударственную деятельность. Недаром П. Брук как-то заметил: «Вы научили каждую кухарку управлять государством, но я бы предпочел, чтобы она умела готовить».

Эта опасность, ставшая в начале 20-х годов прошлого столетия реальностью, в общем-то осознавалась Лениным еще в дооктябрьской работе «Государство и революция». Он понимал, что в централизованном государстве, запускающем щупальца в гражданское общество, очень высока вероятность бюрократизации власти, но собирался преодолеть ее весьма парадоксальным способом – всеобщей бюрократизацией и тем самым снятием с бюрократизма мистического покрова и лишением бюрократии ее защитного панциря. По Ленину, надо добиться того, «чтобы

все исполняли функции контроля и надзора, чтобы *все* на время становились «бюрократами» и чтобы поэтому *никто* не мог стать «бюрократом».⁵

Трудно сказать, насколько это вообще возможно. Особенно в полуграмотной, забитой стране с громадным преобладанием «мелкобуржуазного» населения, всячески противящегося внешнему учету и контролю. Сам Ленин двумя годами позже (в «Очередных задачах Советской власти») сетовал, что существует мелкобуржуазная тенденция превращения членов Советов либо в парламентариев, либо в бюрократов.⁶ Но совершенно ясно, что такой рецепт вряд ли может оказаться действенным. Он неизбежно должен был привести к тому, к чему и привел, - к бюрократическому засилью во всех органах власти. Хотя это и было всего лишь отражением другого процесса - усиления тоталитарных тенденций в обществе.

Тревогу Ленин забил уже к концу гражданской войны. Он начал осознавать, что тотальная бюрократизация - это неминуемая гибель для любых преобразований, и стал резко протестовать против ее опасных проявлений. По его настоянию в резолюцию X съезда ВКП (б), состоявшегося в июне 1921 г., включили положение о том, что потребности крайне централизованного аппарата привели к разбуханию аппарата бюрократического и создали тенденцию к его обособлению. Наиболее активных носителей бюрократизма он называл неделикатно «профсоюзной и коммунистической сволочью».

С началом хозяйственного строительства такое все чаще наблюдалось и в экономических органах управления. Ленин полагал, что вся работа в них поражена бюрократизмом и с горечью предрекал: «Коммунисты стали бюрократами. Если что нас погубит, то это».⁷ Но война, которую он объявил бюрократизму, вряд ли могла дать зримый эффект. Ленин не видел его подлинной природы и социально-политических корней. Бюрократическое засилье он объяснял внешними факторами, не вытекающими из существа той системы власти, которая установилась в стране и зажала в тиски гражданское общество.

Главным источником бюрократизма было, по Ленину, неистребимое наследие капитализма, проглядывавшее из всех пор

⁵ Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 33. С. 109.

⁶ См.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 36. С. 204.

⁷ Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 54. С. 180.

«обновленной» России. Именно оно «возрождается в виде «совбура», советской бюрократии».⁸ Питательную почву для этого «родимого пятна» буржуазного строя составляли, с одной стороны, низкая культура населения, которое как будто само стремилось попасть на бюрократический крючок, а с другой – острая нехватка передовых, квалифицированных работников, из-за чего важные должности попадали к весьма сомнительным людям. Однако по мере того, как бюрократизм распускался махровым цветом и в хозяйственных учреждениях, которые были организованы отнюдь не по-капиталистически, а главное – с усилением общенационального кризиса, коснувшегося в том числе и власти, становилось все более очевидным, что дело не в капитализме. У советского бюрократизма собственные корни, которые выхлещивают всякую борьбу с верхушечными явлениями.

В апреле 1923 г. Ленин начал проявлять непосредственный интерес к самой природе бюрократизма. Поскольку классовые антагонизмы устранены, надо искать другие факторы, способствующие его проявлениям. Еще Маркс полагал, что источник бюрократизма – во внутренней разобщенности гражданского общества, когда каждая отдельная корпорация (обособленная прослойка) нуждается в бюрократии как противовесе другой корпорации и чужому особому интересу. Поэтому разные слои населения как бы делегируют бюрократии свои права по регулированию и контролю социальных взаимоотношений. Но при этом бюрократия неизбежно превращается в особую корпорацию, в «сознание», а значит, и «могущество» самого государства. С этим созвучна ленинская мысль о том, что советский бюрократизм не только прямо не связан с капитализмом, но и в известной мере противостоит ему. В нем выражаются «раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие *оборота* между земледелием и промышленностью, отсутствие связи и взаимосвязи между ними». И далее: «Бюрократизм как наследие «осады», как надстройка над распыленностью и придавленностью мелкого производителя обнаружил себя вполне».⁹

В этом пассаже уже почти схвачены в общих чертах три основных условия бюрократического засилия. Это:

⁸ Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 42. С. 330.

⁹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 43. С. 230 - 231.

1) не просто разобщенность гражданского общества, но и его раздробленность и даже изолированность отдельных слоев и корпораций;

2) отсутствие нормальных, естественных, свободных (прежде всего рыночных) форм взаимодействия между частями гражданского общества;

3) «надстроечная» манипуляция гражданским обществом, командование обывателем и даже производством.

Однако эти условия осознаются еще весьма смутно, как некие фрагменты общей картины коммунистического тоталитаризма. Поэтому и рецепты, предложенные Лениным, внутренне противоречивы и бесплодны. Применение их на практике невозможно при сложившихся реалиях. А значит, если настаивать на внедрении этих рецептов, придется сначала изменить сам уклад жизни.

Ленин рассчитывал излечить государство от бюрократизма с помощью государственного и частного капитализма и нэпмановской «свободы торговли», то есть чисто буржуазными методами, несомненно, враждебными централизованному спруту и подрывающими монополию «общественной собственности» и тем самым партийную диктатуру. Видимо, он пришел к выводу, что прежняя система власти не пригодна для достижения ранее поставленных целей, а может быть, и сами цели далеко не во всем коррективны. Началась новая фаза мучительной работы мысли, во многом цепоследовательной и скачкообразной – не только из-за болезни или сложности тех реалий, которые требовалось осознать. Главная проблема заключалась для Ленина в том, как убедить других – тех, кто уверовал в военный коммунизм и увидел в нем воплощение идеала, – что это был всего лишь мираж, обман идеологического зрения, и надо в корне изменить всю точку зрения на социализм – общество, ради построения которого и была захвачена власть.

3. Чудовищная правда

Новая экономическая политика, введенная в 1921 г., значительно изменила хозяйственную ситуацию, привела к заметным культурным и даже идеологическим сдвигам. Постепенная плюрализация жизни давала обширную пищу для размышлений и

поиска новых путей исторического развития. Но каковы в принципе возможности и пределы освоения будущего государством – пусть даже самым сильным и облеченным полным доверием народа?

Еще Ф. Энгельс в одном из своих последних писем, рассуждая об обратном воздействии надстройки на базис, заметил, что оно может происходить трояким образом. Во-первых, надстройка может практически не влиять на базис, позволяя ему развиваться в «стихийном» порядке. Во-вторых, она нередко существенно тормозит глубинные хозяйственные процессы, ставит им препоны и не дает обрести законченную форму, то есть всячески препятствует развитию нового. И, наконец, в-третьих, расчищая завалы истории, удаляя обломки предшествующих форм жизнеустройства, надстройка открывает столбовую дорогу естественным процессам, происходящим в недрах общества. Это, конечно же, ускоряет ход событий, но лишь за счет сокращения задержек и петляний на одном месте, а не подталкивания истории и навязывания ей тенденций, не имеющих в реальной жизни прочной основы.

Но, если так, можно ли внедрить в общество некий идеал, который, хотя и созвучен общей линии всемирно-исторического прогресса, тем не менее, внеположен, чужероден данной эпохе и не является ответом на ее собственные потребности и проблемы? Можно ли не просто ускорить историю, но и заставить ее свернуть на другой путь, никак не вытекающий из логики развития конкретного общественного организма?

Эти вопросы стояли еще перед Марксом, который в конце концов пришел к выводу, что формальное освоение, то есть непосредственное присвоение, не подготовленное развитием общественной организации индивидов, реальным обобществлением их деятельности, не только не приближает к идеалу, но, наоборот, даже отдаляет от него. Это есть лишь рабское преклонение перед вещественным содержанием частной собственности и, стало быть, пренебрежение ее человеческим смыслом. Следовательно, перед нами стремление «уничтожить *все* то, чем на началах *частной собственности* не могут обладать *все*», «насиловать абстрагироваться от таланта и т. д.». Продолжая эту мысль, Маркс замечает: «Что такое упразднение частной собственности отнюдь не является подлинным освоением ее, видно как из абстрактно-

го отрицания всего мира культуры и цивилизации, из возврата к *нестественной простоте бедного*, грубого и не имеющего потребностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос до нее. Для такого рода коммунизма общность есть лишь общность *труда* и равенство заработной платы, выплачиваемой общинным капиталом, *общинной* как всеобщим капиталистом». Этот плоский коммунизм, по Марксу, «есть только *форма проявления* гнусности частной собственности, желающей утвердить себя в качестве *положительной общности*».¹⁰

Если согласиться с этим, придется признать, что всякое преждевременное, не подкрепленное базисными накоплениями упразднение частной собственности может привести лишь к своей противоположности – возрождению частной собственности в гораздо более уродливой, извращенной, противоестественной форме, которая способна поработить не только тех, кто был скован ею, но и тех, кто ранее был свободен. Иначе говоря, такое упразднение – вместо расширения исторического пространства свободы – приведет к резкому сужению ее диапазона и отбросит общество далеко назад – на те рубежи, откуда когда-то начался очередной виток его развития. И, наоборот, если капитализм еще не исчерпал свой потенциал и способен к саморазвитию, обеспечивая интересы все больших слоев населения, значит, он сохраняет право на существование. Во всяком случае до тех пор, пока у него нет действенной альтернативы, которая могла бы побороть его изнутри.

Соревнование должно вестись не между разными обществами, а внутри единого социального организма. Ростки нового, появившиеся в его недрах, разрастаясь и вытесняя старые формы жизнеустройства, в какой-то момент окажутся достаточно многочисленными и прочными, чтобы из них выложить целое здание. И в этом отношении социалистическая революция не может отличаться от буржуазной. В обоих случаях силы, пришедшие к власти, вынуждены опираться на готовые базисные конструкции, пусть даже находящиеся в зародышевом состоянии. Иначе само здание этой власти просядет при первых же порывах социальных ветров.

Ведь и сам Ленин пытался найти зародыши социалистических хозяйственных форм внутри капитализма. Он остановился на крупных акционерных объединениях (монополиях), которые

¹⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 42. С. 114 – 115, 116.

и Маркс считал переходной моделью от капитализма к обществу ассоциированных производителей. Но, в отличие от Маркса, Ленин увидел в них готовую форму.

Однако монополия, как и всякое акционерное объединение, есть упразднение капиталистического способа производства лишь внутри самого капитализма. Она, по Марксу, «воспроизводит новую финансовую аристократию, новую разновидность паразитов в образе прожектеров, учредителей и чисто номинальных директоров», а также «целую систему мощничества и обмана в области учредительства, выпуска акций и торговли акциями. Это – частное производство без контроля частной собственности».¹¹ Иными словами, монополия является переходной формой лишь постольку, поскольку обеспечивает организационно-технологическую основу ассоциированного производства. Но, будучи чисто буржуазной хозяйственной формой, она сохраняет в себе все органические пороки капитализма.

Гражданская жизнь – в той ее части, которая оказывается под влиянием монополии, – все больше ставится под тоталитарный контроль, что сопровождается бюрократизацией управления и отчуждением труда и власти. Неслучайно уже в самом начале XX века развитые капиталистические страны (в особенности США) стали принимать антимонопольные законы с целью недопущения не просто чрезмерного усиления хозяйственных корпораций, их превращения во всеохватывающих монстров («единые фабрики»), но даже такого укрупнения, которое позволило бы им доминировать на товарных рынках. В этом буржуазные государства увидели серьезную угрозу гражданскому обществу, которое могло бы стать марионеткой гигантских спрутов, хотя формально и отделенных от государства, потихоньку прибирающих к рукам и рычаги управления обществом. У государства тогда остался бы небольшой выбор – либо слиться с этими монополиями и стать тоталитарным Левиафаном, либо стать их орудием в процессе манипулирования гражданской жизнью. Ибо никакая демократия вместе с общественными свободами несовместима с монополизмом – ни в отношении собственности, ни в отношении производства, ни тем более в отношении власти, которая в условиях монополизма неизбежно превращается в тоталитарное орудие подавления личности.

¹¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 25. Ч. I. С. 481–482.

Но, если тенденции развития новых, свободных форм жизнеустройства или хотя бы их зародыши надо искать в недрах капиталистического общества, не значит ли это, что человечество обречено на пассивное ожидание, пока сами собой не появятся ростки, из которых можно выпестовать более эффективные способы организации труда и социальных взаимоотношений?

Вовсе нет. Можно сознательно формировать ростки нового и направлять естественное развитие в желаемое русло. Однако чего, действительно, нельзя делать – это пытаться создать эти ростки на пустом месте, привить обществу такие формы, которые не способны произрасти обычным путем, несовместимы как с его установлениями, так и с самой человеческой природой. И дело не только в том, что это нереалистично и безнадежно как проект. Мобилизуя силы общества на достижение ложных целей, доводя их до крайнего напряжения, если не сказать – истощения, и не добиваясь при этом осязаемых результатов, мы неизбежно вгоняем его в состояние протрации, выхолащиваем социальный энтузиазм и надолго отбиваем у людей охоту действовать с повышенной самоотдачей. Именно такая участь и постигла «коммунистический труд», который, вопреки официальным заверениям, не дал и не мог дать сколько-нибудь значимых плодов, если, конечно, не считать отдельных случаев массового использования грубой физической силы.

Как ни странно, даже воспитание самодовлеющей тяги к производительному труду Маркс считал исторической миссией капитализма. По его словам, великая задача капитала «заключается в *создании* этого *прибавочного труда*, излишнего с точки зрения одной лишь потребительной стоимости, с точки зрения просто поддержания существования рабочего, и историческое назначение капитала будет выполнено тогда, когда, с одной стороны, потребности будут развиты настолько, что сам прибавочный труд, труд за пределами абсолютно необходимого для жизни станет всеобщей потребностью, проистекающей из самих индивидуальных потребностей людей, и когда, с другой стороны, всеобщее трудолюбие благодаря строгой дисциплине капитала, через которую прошли следовавшие друг за другом поколения, разовьется как всеобщее достояние нового поколения, – когда, наконец, это всеобщее трудолюбие, благодаря развитию производительных сил труда, постоянно подстегиваемых капиталом,

одержимым беспредельной страстью к обогащению и действующим в таких условиях, в которых он только и может реализовать эту страсть, приведет к тому, что, с одной стороны, владение всеобщим богатством и сохранение его будут требовать от всего общества лишь сравнительно незначительного количества рабочего времени и что, с другой стороны, работающее общество будет по-научному относиться к процессу своего воспроизводства во все возрастающем изобилии; следовательно, тогда, когда прекратится такой труд, при котором человек сам делает то, что он может заставить вещи делать для себя, для человека». ¹² Вот какую историческую границу ставил капитализму Маркс, вменяя ему в обязанность превращение труда в первую жизненную потребность и, в то же время, в качестве предпосылки для него – революцию в самом содержании труда, передачу машинам и автоматам всей «черной» работы и сохранение за человеком работы творческой, захватывающей.

Стоит ли удивляться, что непосредственный переход к коммунизму в начале XX столетия опирался лишь на голое насилие и тоталитарный контроль над обществом? К тому же он вряд ли мог предстать иначе, как в военном «мундире», если иметь в виду не только и не столько милитаристскую оболочку, абсолютно неизбежную в контексте гражданской войны, но и – что гораздо важнее – принудительно-репрессивный механизм осуществления власти. Но в такие ворота в рай, у которых стоит гильотина, не станут протискиваться большие толпы людей. Естественно, началось брожение масс – выступления рабочих сменялись крестьянскими восстаниями. А последней каплей в этом ряду стал Кронштадский мятеж, который грозил положить конец коммунистическому эксперименту. И ответом на социальные протесты подопытного населения стала новая экономическая политика (нэп), призванная ослабить тоталитарный контроль и вдохнуть хотя бы минимум свободы в тело изможденного гражданского общества.

С нэпом пришло оживление хозяйственных процессов. Наметился подъем промышленности, буквально раздавленной двумя разрушительными войнами и военным коммунизмом. В короткие сроки удалось одеть и накормить людей, что представлялось не иначе, как чудом. Стабилизировались финансы, и казначейские бумаги, которыми еще совсем недавно оклеивали отхо-

¹² Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 46. Ч. I. С. 282 – 283.

жие места, стали наливаться живой силой. Начала возрождаться культура. Пробудившись от военно-коммунистической спячки, народ потянулся и к духовным ценностям. Ослабли нити идеологического диктата, опутавшие человеческую совесть. Наконец, у людей прорезался голос. Они заговорили о том, в чем раньше с трудом признавались и самим себе. Стала очевидной простая истина: счастье человека – в его самореализации, а она возможна лишь в настоящем, и никакими схоластическими фокусами нельзя подменить его фантазиями о будущем.

Любое «завтра» должно быть осязаемым. В противном случае оно превращается лишь в приманку для безрассудных фанатиков, готовых жертвовать во имя этого фантома не только собой, но и всеми, кто оказывается у них под рукой. Не говоря уже об авантюристах и властолюбцах, ловко эксплуатирующих человеческую мечту и паразитирующих на вере в светлое будущее («честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой»). В этом смысле нэп вернул людям, ослепленным сияющими вершинами фантома будущего, здравый смысл и стремление к простым житейским радостям.

Опыт, накопленный при осуществлении новой экономической политики, стал для Ленина большим уроком государственного управления. Вопреки распространенному мнению, она не была конечным итогом его размышлений. В своем политическом завещании Ленин пошел еще дальше и предложил принципиально новую программу социального развития. Речь шла уже не о строительстве социализма. Он демонстрировал гораздо более бережное и уважительное отношение к истории, понимание того, что ее нельзя гнать, как лошадь, и максимум, на что можно рассчитывать, – это помочь ей разрешиться от бремени.

Однако голос Ленина не был услышан его соратниками. Он потонул в многоголосом хоре певцов военного коммунизма. Им пренебрегли даже те, кто приветствовал нэп. И это вполне естественно. Ведь новая позиция Ленина выходила далеко за рамки нэпа, и мало кто был способен совершить вместе с ним столь головокружительный кульбит – дважды радикально перестроиться за два года, перейдя от военного коммунизма к нэпу и от него – к политике, изложенной в его последних письмах и статьях.

Ленин полагал, что требуется немедленно произвести изменения в политическом строе России. Оживление – благодаря нэп

пу - социально-экономических и культурных процессов показало, сколь неэффективен и беспомощен на его фоне государственный организм и как он сдерживает дальнейшее раскрепощение гражданского общества. И привести его в соответствие с интересами развития страны было для Ленина главным императивом. Но эта выстраданная им правда была чудовищной для советских вождей. Она не просто перечеркивала их прошлые усилия, но у многих даже отнимала смысл жизни. Правда жизни вступила в острое противоречие с чаяниями тех, кто не освободился от чар военного коммунизма, не говоря уже о многочисленном советском чиновничестве, которое также заняло круговую оборону. Тоталитарно-бюрократическое государство к тому времени успело полностью сформироваться, и оно вовсе не собиралось уступать завоеванных позиций.